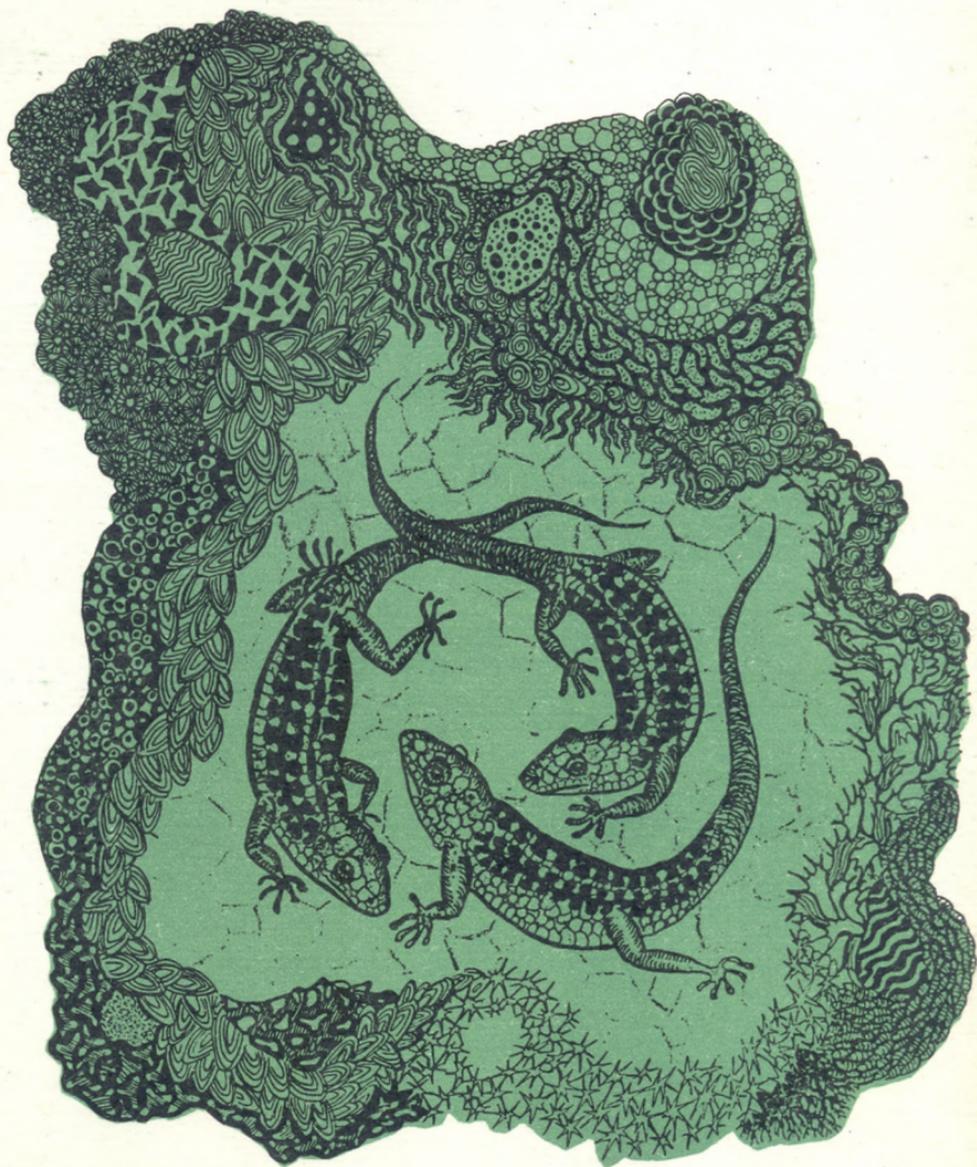


БАХЫТ КЕНЖЕЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ



1991 г.

Бахыт Кенжеев

С т и х и
п о с л е д н и х
л е т

1992

ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ

* *
*

Говори — словно боль заговаривай,
бормочи без оглядки, терпи.
Индевеет закатное зарево
и юродивый спит на цепи.

Было солоно, ветрено, молодо.
За рекою казенный завод
крепким запахом хмеля и солода
красноглазую мглу обдает

до сих пор — но ячмень перемелется,
хмель увянет, послушай меня.
Спит святой человек, не шевелится,
несуразные страсти бубня.

Скоро, скоро лучинка отщепится
от подрубленного ствола —
дунет скороговоркой, нелепицей
в занавешенные зеркала,

холодеющий ночью анисовой,
догорающий сорной травой —
все равно говори, переписывай
розоватый узор звуковой...

Доживать, ни о чем не жалея,
даже если итогов (прости!)
кот наплакал. В дождливой аллее
лесопарка (две трети пути
миновало), спрягаешь глаголы
в идеальном прошедшем. Давно
в голове неуютно и голо,
о душе и подумать смешно.
Дым отечества, черен и сладок,
опьяняет московскую тьму.
Роща претерпевает упадок.
Вот и я покоряюсь ему.

Хорошо бы к такому началу
приписать благодушный конец,
например, о любви небывалой,
наслаждении верных сердец.
Или, скажем, о вечности. Я ли
не строчил скороспелых поэм
с неременной моралью в финале,
каруселью лирических тем!
Но увы, романтический дар мой
слишком высокомерен. Ценю
только вчуже подход лапидарный
к дешевизне земного меню.

Любомудры, глядящие кисло,
засыхает трава-лебеда.
Не просите у осени смысла —
пожалейте ее, господа.
Очевидно, другого подарка
сиротливая ищет душа,
по изгибам дурацкого парка
сердцевидной листвою шурша,
очевидно, и даже несложно,
но бормочет в ответ: «не отдам»
арендатор ее ненадежный,
непричастный небесным трудам.

* *
*

Отложена дуэль. От переспелой вишни
на пальцах алый сок. В ту пору без труда
ссужали время мне — но амба, годы вышли,
платить или бежать. Еще бы знать, куда...

Долги мои, должки, убытки и протори
командировочные, справки, темный сон
о белом корабле на синем-синем море,
откуда сброшен я, и в явь перенесен.

Там уголовный хрип, ограбленное лето —
и море ясное. И парусник белей
счетов, оплаченных такую же монетой,
что давний проигрыш моих учителей.

В блокноте, начатом едва
роятся юркие слова,
что муравьи голодным комом
у толстой гусеницы. Знать,
ей мотыльком уже не стать,
погибшей деве насекомой.

Хорош ли образ мой, Эраст?
Кусают, кто во что горазд,
друг другу ползают по спинам.
Осилят в несколько минут
и, напрягаясь, волокут
на корм личинкам муравьиным.

Бытует в Африке молва —
кто поедает сердце льва,
наследует его отваге.
Но до сих пор не видел я
ни мотылька из муравья,
ни слов, взлетающих с бумаги.

Искусство — уверяют — щель
в мир восхитительных вещей,
что не постичь рассудком чистым.
Я в этой области эксперт,
пускай зовет меня Лаэрт
неисправимым пессимистом.

Жар творчества, и жар печной —
вот близнецы, мой друг родной.
Воспламеняясь повсеместно,
из жизни мертвое сырье
творяют, чтоб превратить ее
в паек духовный и телесный.

* *
 *
 *
 *

Нет, не безумная ткачиха
блуждает в кипах полотна —
ко мне приходит тихо-тихо
подруга старая одна

в свечном огне, в кухонном дыме
играет пальцами худыми
свистит растительный мотив
к коленям голову склонив

я принесу вина и чая
в неузнаваемой ночи
простую гостью угощая
всем, что имеется в печи

но в город честный, город зыбкий
где алкоголик и бедняк
она уходит без улыбки
благословенья не приняв

и вслед за нею в сердце ранен
влачится по чужой земле
на тонких ножках горожанин
почти невидимый во мгле.

* *
*

Дворами проходит, старье, восклицает, берем.
Мещанская речь расстилается мшистым ковром
по серой брусчатке, глухим палисадникам, где
настурция, ирис, и тяжесть шмелей в резеде.

Подвальная бедность, наследие выпрених лет...
Я сам мещанин — повторяю за Пушкиным вслед,
и мучаю память, опять воскресить не могу
ковер с лебедями, и замок на том берегу.

Какая работа! Какая свобода, старик!
Махнемся не глядя, я тоже к потерям привык,
недаром всю юность брезгливо за нами следил
угрюмый товарищ, в железных очках господин.

Стеклянное диво, лиловый аптечный флакон
роняя на камни, медяк на ладони держа —
еще отыщу тебя, чтобы придти на поклон —
владельца пистонов, хлопушек, складного ножа...

*Доктору гуманитарных наук
Александру Садецкому,
предложившему автору
беспроегрывный способ
игры на рулетке*

Раз, заехав в Баден-Баден
и оставшись на ночлег,
убедился я, как жаден
современный человек.
Там с пучками ассигнаций
муж, подросток и жена
с гнусным шулером толпятся
у зеленого сукна,
там иной наследник пылкий,
проигравшись в прах и пух,
смотрит с завистью в затылки
торжествующих старух.
И выигрывает шарик
миллионы в полчаса,
И Меркурий, как фонарик,
озаряет небеса.
Саша! Метод твой искусный
покорил меня давно,
почему же с видом грустным
я покинул казино?

Нет, к другой меня рулетке
тянет, тянет без конца!
Там покинутые детки
венценосного отца
без особенной охоты
покоряются судьбе,
и проигрывают сходу
не фортуне, а себе.
И царит над ними дама,

седовласа, как зима.
Кто она, мой друг упрямый?
Смерть? Гармония сама?
Улыбаясь, ставит крупно,
глядя в будущую тьму,
по системе, недоступной
просвещенному уму.

Даже если Баден-Баден
наградит иной азарт,
если выиграть у гадин
вождеденный миллиард,
не ликуй, профессор Саша,
не гляди удаче в рот —
все равно царица наша
ту наживу отберет.
Лучше бедно жить и гордо,
добиваясь до конца
превращенья грешной морды
в вид достойного лица.

ПАМЯТИ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО

1.

Пощадили камни тебя, пророк,
в ассирийский век на святой Руси,
защитили тысячи мертвых строк —
перевод с кайсацкого на фарси —

фронтовик, сверчок на своем шестке
золотом поющий, что было сил —
в невозможной юности, вдалеке,
если б знал ты, как я тебя любил

если б ведал, как я тебя читал —
и по книжкам тощим, и наизусть,
по Москве, по гиблым ее местам,
а теперь молчу, перечеть боюсь.

Царь хромой в изгнании. Беглый раб,
утолявший жажду из тайных рек,
на какой ночевке ты так озяб,
уязвленный, сумрачный человек?

Остановлен ветер. Кувшин с водой
разбивался медленно, в такт стихам.
И за кадром голос немолодой
оскорбленным временем полыхал.

2.

Поезда разминутся ночные,
замычит попрошайка немой —
пролети по беспутной России —
за сто лет не вернешься домой.

От военных, свинцовых гостинцев
разрыдаешься, зубы сожмешь, —
знать, Державину из раночинцев
не натянуть казенных галош...

Что гремит в золотой табакерке?
Музыкальный поселок, дружок.
Кто нам жизнь (и за что?) исковеркал,
неурочную душу поджег?

Спи без снов, незадачливый гений,
с опозданием спи, навсегда.
Над макетом библейских владений
равнодушная всходит звезда.

Книги собраны. Пусто в прихожей.
Только зеркало. Только одна
участь. Только морозом по коже —
по любви. И на все времена.

А. В.

Век обозленного вздоха,
провинциальных затей.
Вот и уходит эпоха
тайной свободы твоей.
Вытрем солдатскую плошку,
в нечет сыграем и чет,
серую глядя обложку
книги за собственный счет.

Помнишь, как в двориках русских
мальчики, дети химер,
скверный портвейн без закуски
пили за музыку сфер?
Перегорела обида.
Лопнул натянутый трос.
Скверик у здания МИДа
пыльной пылью зарос.

В полупосмертную славу
жизнь превращается, как
едкие слезы Исава
в соль на отцовских руках.
И устающее ухо
слушает ночь напролет
дрожь уходящего духа,
цепь музыкальных длиннот...

* *
*

Всадник въезжает в город после захода солнца.
Весело и тревожно лошадь его несется.
Всадник звенит булатом, словно кого-то ищет.
Не надрывайся, милый, не обессудь, дружище.

Город лежит в руинах, выцветший звездный полог
молча над ним сдвигает бережный археолог.
Стены его и рамы — только пустые тени,
дыры, провалы, ямы в пятнах сухих растений.

То, что дорогой длинной в сердце не отшумело,
стало могильной глиной, свалкою онемелой.
В городе визг шакала, свист неумной птицы.
Весть твоя опоздала. Некому ей дивиться.

Тень переходит в сумрак, перетекает в пламя.
Всадник, гонец бесшумный, тихо кружит над нами.
В пыльную даль летящий, сдавшийся, безъязыкий,
с серой улыбкой, спящей на просветлевшем лице.

* *
*

Хорошо на открытии ВСХВ
духовое веселье.
Дирижабли висят в ледяной синеве
и кружат карусели.

Осыпает салютом, и ливнем наград
пастуха и свинарку.
Голубые глаза государства горят
беспокойно и ярко.

Дай-ка водочки выпьем — была не была!
А потом лимонаду.
На комбриге нарядная форма бела,
все готово к параду.

И какой натюрморт — угловой гастроном,
в позолоченной раме!
Замирай, зачарованный крымским вином,
семгой, сельдью, сырами.

И божественным запахом пряной травы —
и топориком в темя —
чтобы выгрызло мозг из своей головы
комсомольское племя.



Киноархив мой, открывшийся в кои-то
веки — трещи, не стихай.
Я ль не поклонник того целлулоида,
ломкого, словно сухарь,
Я ли под утро от Внукова к Соколу
в бледной, сухой синеве...
Я ль не любитель кино одинокого,
как повелось на Москве —
документального, сладкого, пьяного —
но не велит Гераклит
старую ленту прокручивать заново —
грустно, и сердце болит.

Высохла, выцвела пленка горячая,
как и положено ей.
Память продрогшая больше не мучает
блудных своих сыновей.
Меркнут далекие дворики-скверики,
давнюю ласку и мат
глушат огромные реки Америки,
темной водою шумят.
И, как считалку, с последним усилием
бывший отличник твердит —
этот в Австралию, эта — в Бразилию,
эта — и вовсе в Аид.
Вызубрив с честью азы географии
в ночь перелетных хлопот,
чем же наставнику мы не потрафили?
Или учебник не тот?



Любому веку нужен свой язык.
Здесь Белый бы поставил рифму «зык».
Старик любил мистические бури,
таинственное золото в лазури,
поэт и полубог, не то что мы,
изгнанник символического рая,
он различал с веранды, умирая,
ржавеющие крымские холмы.

Любому веку нужен свой пиит.
Гони мерзавца в дверь — вернется через
окошко. И провидческую ересь
в неистойвой печали забубнит,
на скрипочке оплачет времена
античные, чтоб публика не знала
его в лицо — и молча рухнет на
перроне Царскосельского вокзала.

Еще одна: курила и врала,
и шапочки вязала на продажу,
морская дочь, изменница, вдова,
всю пряжу извела, чернее саж
была лицом. Любившая, как сто
сестер и жен, веревкою бесплатной
обвязывает горло — и никто
не гладит ей седеющие патлы.

Любому веку... Брось, при чем тут век!
Он не длиннее жизни, а короче.
Любому дню потребен нежный снег,
когда январь. Луна в начале ночи,
когда июнь. Антоновка в руке
когда сентябрь. И оттепень, и сырость
в начале марта, чтоб под утро снилась
строка на неизвестном языке.



Каждому веку нужен родной язык,
каждому сердцу, дереву и ножу
нужен родной язык чистоты слезы —
так я скажу, и слово свое сдержу.

Так я скажу, и молча, босой, пройду
неплодородной, облачную страной
чтобы вменить в вину своему труду
ставший громоздким камнем язык родной.

С улицы инвалид ухом к стеклу притник.
Всякому горлу больно, всякий слезится глаз
если ветшает век, и его родник
пересыхает, не утешая нас.

Камни сотрут подошву, молодость отберут,
чтоб из воды поющий тростник возрос,
чтобы под старость мог оправдать свой труд
неутолимым кружевом камнетес.

Что ж — отдирая корку со сжатых губ,
превозмогая ложь, и в ушах нарыв,
каждому небу — если уж век не люб —
проговорись, забытое повторив

на языке родном, потому что вновь
в каждом живом предутренний сон глубок,
чтобы сливались ненависть и любовь
в узком твоём зрачке в золотой клубок.



Словно тетерев, песней победной
развлекая друзей на заре,
ты обучишься, юноша бледный,
и размерам, и прочей муре,

за стаканом, в ночных разговорах
насобачишься, видит Господь,
наводит иронический шорох —
что орехи ладонью колоть,

уяснишь ремесло человечье,
и еще наостришься, строка,
обихаживать хитрую речью
неподкупную твердь языка.

Но нежданное что-то случится
за границею той чепухи,
что на гладкой журнальной странице
выдавала себя за стихи.

что-то страшное грянет за устьем
той реки, где и смерть нипочем,—
серафим шестикрылый, допустим,
с окровавленным, ржавым мечом,

или голос заоблачный, или...
сам увидишь. В мои времена
этой мистике нас не учили,—
дикой кошкой кидалась она,

и корежила, чтобы ни бури,
ни любви, ни беды не искал,
испытавший на собственной шкуре
невозможного счастья оскал.

* *
*

Декабрьское небо взъерошено,
сомнительный воздух в груди,
и ты, дорогая, не трожь меня,
как Тютчев просил — не буди.

Не он, говоришь? Микельанджело?
Не ведая вечных забот,
рассветной дорожкой оранжевой
минутная стрелка ползет.

Но мокрой скатеркой полощется
душа, обвисает без сил,
влетая в промерзшую рощицу,
в ряды молчаливых осин,

корявые дупла, извилины,
палаты без ручки дверной —
опора и дятлу, и филину —
летающей твари земной.

Прости недотепу, которому
достался такой пьедестал
чтоб зимнему певчему ворону
завидовать он перестал —

избавлен от тела тяжелого
и час позабыв, и число —
пусть дремлет, пернатую голову
под черное спрятав крыло.



В долинном городе — пять церквей,
нестроен воскресный звон.
Вокзал дощатый давно в музей
истории превращен.
Здесь нет бездельников, нищих нет,
и мало кто смотрит вслед
несущей в гору велосипед
красавице средних лет.

За длинным списком былых удач
и глупостей, за горой
далек и тих паровочный плач,
хрипящий, глухой, сырой...
И только рыбы снуют, легки,
в потоках прозрачной тьмы,
и друг за другом бегут холмы
по кругу, вперегонки.

Не убивайся — когда оглох
Бетховен, забыл ли он
что после эха следует вдох
и после молчанья стон?
Дождись рассвета, проси дождя,
стальным колесом стучи,
опровергая и бередя
усвоенное в ночи.

Лавируя, выгибая хвост,
форель говорливых вод
немой свидетельницей плывет
среди охлажденных звезд.
И расстилается низкий вой
гудка над речной травой,
и заглушает его раскат
невидимый водопад...



— Эй, каменщик в фартуке! Что ты
возводишь?

— Вали-ка дурак,
я занят серьезной работой
секретною, бесповоротной,
не для либеральных зевак.

Но с прежней писательской страстью
канючит властитель сердец.
Он ищет вселенского счастья,
гуманный, взыскательный мастер,
общественных нравов боец.

Не лучше ль ему отравиться,
когда, взбеленившись, плебей
вонзает вязальную спицу
в глаза очевидцу, провидцу
и если прикажут «убей» —

убьет. И солжет, не скрывая
бесстыжего взгляда. Но бард
настаивает, прозревая,
что жертвенность есть роковая
в раскладе божественных карт.

И вот — замирает у гроба
российской словесности. Ах,
ужель эта злая особа —
былая красотка, зазноба
в легчайших атласных туфлях?

А каменщик в кепке неброской,
творец государственных мест
смывает с ладоней известку,
и выпоров сына-подростка,
говядину жесткую ест.

А. Ц.

Запрокинувший голову раб
застывает в восторге. Над ним
виноградные кисти горят
темно-розовым и золотым.

Хорошо. И свобода близка.
Но шестнадцать столетий подряд
звуков варварского языка
сторонился имперский закат.

И куда в эти годы ни кинь
одинокое взгляда — везде
обреченная славе латынь
распростерта в родильном труде.

Улетел несгораемый дым,
ослепив византийских детей.
И всю ночь твои пасынки, Рим,
голосят на могиле твоей.



Не горюй. Горевать не нужно.
Жили-были, не пропадем.
Все уладится, потому что
на рассвете в скрипучий дом

осторожничая, без крика,
веронала и воронья,
вступит муза моя — музыка
городского небытия.

Мы неважно внимали Богу —
но любому на склоне лет
открывается понемногу
стародавний ее секрет.

Сколько выпало ей, простушке,
не востребованных наград.
Мутный чай остывает в кружке
с синей надписью «Ленинград».

И покуда зиме в угодую
за простуженным слоем слой
голословная непогода
расстилается над землей,

город, вытертый серой тряпкой,
беспокоен и нелюбим —
покрывай его, ангел зябкий,
черным цветом ли, голубым,—

но пройдишь штукатурной кистью
по сырым его небесам,
прошлогодним истлевшим листьям,
изменившимся адресам,

чтобы жизнь началась сначала,
чтобы утром из рукава
грузной чайкою вылетала
незабвенная синева.



Ледяной синевой обделенный,
лепит дерево слепорожденный
в разумении темном своем.
Хорошо ему жить, властелину
влажной, серой, фисташковой глины,
хорошо ему с Богом вдвоем.

Создавая наощупь, по звуку
воплощение шумного бука,
и осины, и мгlistой луны
на ущербе, он счастлив до дрожи,—
так творения эти похожи
на его сокровенные сны.

Двадцать лет уже он, не робея,
лепит дупла и листья — грубее
настоящих, но веруя в труд
ради вечности, в глиняный воздух —
жаль, что даже бездомные звезды
подаянья его не берут.

А учитель его терпеливый
шелестит облетающей ивой,
недовольною воет трубой,
обещая на обе сетчатки,
навсегда наложить отпечатки
небывалой беды голубой.

Нам-то что? Мы и сами с усами.
Глина, глина у нас под ногтями
мой читатель — попробуй отмой.
Не ощупать поющей синицы —
и томится в трехмерной темнице
червоточина речи прямой.

* *
 *

Законы физики высокой
мы постигаем с каждым днем:
крошится зуб, слабеет око,
вот-вот сорвемся, поплывем

мирами газовых скитаний,
и смерть положенной порой
стоит не райскими вратами,
а гнусной черною дырой.

Я огорчил тебя? Ну что ты!
Жизнь — это жизнь, ее не след
судить за ямы и пустоты
в вокзальной очереди лет.

Ведь умный физики не знает,
и в биологии не спец.
Он незаметно умирает
и воскресает наконец.

Не узнаваемый живыми,
сжигает звезды по одной,
и забывает даже имя,
своей печали ледяной...



Безымянное небо. Зеленка, и йод,
и кармин. Запыленные липы
поредевшим кружком. И пластинка поет
допотопное, то, что могли бы

мы услышать с бобины чудовищного
агрегата и выпасть в осадок,
приговаривая «волшебство, волшебство»,
на окраине шестидесятых,

в проржавевшей провинции мира, вдали
от вечерней фреоновой воли
метрополии, с привкусом черной земли
и картошки, и дворницкой соли

на губах. Никого у подъезда. Кривой
тополек, перепаханный дворик.
До одышки шатаюсь крикливой Москвой,
не ищи, торопливый историк,

прошлогодного снега, когда поделом
надвигается осень немая,
и бурлишь, и витийствуешь задним числом,
все предчувствуя и принимая...

* *
*

И темна, и горька на губах тишина,
надоел ее гул неродной —
сколько лет к моему изголовью она
набегала стеклянной волной.

Оттого и обрыдло копать в словах,
что словарь мой до дна перерыл,
что морозная ягода в тесных ветвях
суховатую тайной горит.

Знать, пора научиться в такие часы
сырый воздух дыханием греть,
напевать, наливать, усмехаться в усы
в запыленные окна смотреть.

Вот и дрозд улетает — что с птицы возьмешь.
Видишь, жизнь оказалась длинней,
и куда неожиданней смерти. Ну что ж,
начинай, не тревожься о ней.

* *
*

За головокружительную далью,
где отдыхает житель неземной,

не ведая терпенья и страданья
которые таскаются за мной —

там хорошо, там в чаше бродит леший
подругу зазывая калачом,

но человек, смешон и безутешен,
печалится — Бог ведает о чем.

Он раньше жил любовнее и проще,
прислушиваясь к дождику над рошей,

он выбирал меж ветром и огнем —
забудь о нем. Обнимемся, вздохнем —

и отвернемся. Знаешь эти окна
в вечернем небе — шепот сквознячка

иных миров, алмазные волокна,
холодный свет у самого зрачка?

Все это блажь, побочная работа
русалочьей болезни лучевой,

рисующей сговорчивые ноты
на влажной оболочке роговой...



Куда плывет громоздким кораблем
летучий град в бессоннице осенней?
То в дерево, то в озеро влюблен,
небритый мой зеркальный собеседник
по-рыбьи раскрывает черный рот —
а я молчу, и глаз не подымаю.
Так беззаботно радио поет.
А у него мелодия немая
на языке, и в горле белена —
корабль плывет, сирены молодые
сидят на мачтах, жизнь еще влажна
еще легка, еще она — впервые...

Не за горами ранняя зима.
Рассеется туман, сгустится иней.
Один умрет, другой сойдет с ума,
как мотылек в бесхозной паутине
И человек вздыхает, замерев.
Давно ему грозит зима другая,
все дни его и годы нараспев
на музыку свою перелагая.
А из краев, где жаркий водород
шлет луч на землю в реках и могилах,
глядит Господь — жалеет, слезы льет
одна беда — помочь ему не в силах.

* * *

Заела проза — но, увы, не та, что Достоевского давила. И если есть мечта — она проста, и, вероятно, неосуществима. Однако же, как просится в тюрьму, когда ночлежки надоели, бездомный негр — хотя б по одному стихотворению в неделю писать тебе, и в очередь, сердясь, вставать на почте, многословный адрес надписывать, и клеить марку... Связь времен распалась. Я тебе не нравлюсь? Я сам себе не нравлюсь. Голоса за стенкою хохочут и рыдают. Посмотришь на будильник — три часа. Черт подери. Бледнеет, пропадает мой бедный дар. Куда же он прибрел ночами маломощными, зачем я заискиваю перед сентябрем, без лишних слов слетающим на землю? Какие письма — я уже привык к молчанью посерьезнее, подруга. А что за ним? Привычный черновик из рук моих выхватывает вьюга, — то улещает, то опять грозит — то, покрываясь темной позолотой, далекою, неумолимой нотой в заговоренном воздухе гудит...

* *
*

Жизнь, говоришь, утекает? Смешон, независим нищий у автовокзала, стреляющий на суп общепитовский, курице, марки для писем без вести сгинувшим. Из-под рубахи видна

грудь волосатая. Всякому он доброхоту вязко твердит о своих злключениях в том северном крае, где сердце впрягают в работу и осеняют бродягу казенным крестом.

Ах, никаких-то героев у повести лживой, кроме любви, да десятка растерянных лет. С горсточкой мелочи потной в ручище ленивой жить-поживать, оставляя улиточный след...

Газ выхлопной, беспризорная кошка в ограде церкви, червивая груша, бутылочный звон о холодеющий камень. По осени наш тунеядец зол, беспокоен — знать, скоро отправится он

самым дешевым автобусом к южным широтам. Разговори его. Нет, не капустой — тоской смертною пахнет сентябрь, — уверяет, — чего там, пусть утекает — но лучше водою морской.

В. Ерофееву

Расскажи, мне об ангелах. Именно
о певучих и певчих, о них,
изучивших нехитрую химию
человеческих глаз голубых.

Не беда, что в землистой обиде мы
изнываем от смертных забот,—
слабосильный товарищ невидимый
наше горе на ноты кладет.

Проплывай паутинкой осеннею,
чудный голос неведомо чей —
эта вера от века посеяна
в бесталанной отчизне моей.

Нагршили мы, накуролесили,
хоть стреляйся, хоть локти грызи.
Что ж ты плачешь, оплот мракобесия,
лебединые крылья в грязи?

ЧАСТЬ
ВТОРАЯ

Послания

МОНРЕАЛЬ, 1889

1.

Любезный Радашкевич, извинишь ли мою необязательность? С годами все реже долгожданные часы, когда зажжешь свечу, перо очинишь — и доверяешь сумрачную душу листу бумаги, зная, что назавтра почтовый пароход его умчит в Европу милую, в морозные пределы Отечества... Знакомый коммерсант не знающий по-русски, в ноябре поверишь? — пригласил меня в Россию с торговым представительством. Не стану описывать дорожных приключений, таможенных волнений, первых страхов... Купец мой добрый продавал завод по выпечке пшеничных караваев из теста замороженного (ты слышал про наши зимы, Радашкевич?). Представь картину — публика во фраках, при шелковом белье, при сапогах начищенных — социалисты ныне и впрямь переменились! Твой покорный, надев передник белый, как заправский мастеровой, стоит у жаркой печи и раздает бесплатные буханки чиновникам, артельщикам, министрам...

Мы жили в «Прибалтийской». Зябким утром аворы зимней скудные лучи там освещают бедные кварталы рабочего предместья, но прекрасен залив ноябрьский — редкий белый парус и чайки на пронзительном ветру...

До Невского оттуда, помнишь сам,
порядочный конец, но так извозчик
чудесно мчится, так Нева сияет
то серебром, то изумрудом, то
аквамарином! Впрочем, я привычен
к неярким, тихим северным пейзажам,
не то что ты, парижский обитатель...
Кормили славно — но признаюсь, милый,
что две недели жирной русской кухни,
мне, право, показались тяжелы.
Вернулся — и набросился на все
дары своей Канады, на бизонье
жаркое, кукурузные лепешки
(индейцы так пекут их, что и ты
одобрил бы), на яблоки и клюкву,
кленовый сахар, английское пиво...
А между тем роман мой злополучный
обруган был неведомым зоилом
в известной «Русской мысли». Не ищу
сочувствия, мой славный Радашкевич.
Ты не поклонник прозы, ты навеки
привязан к странной музыке верлибра,
безрифменному строю тесных звуков,
к гармонии, что для ушей славянских
груба и непривычна. Не беда,
мой монархист. Поэзия, царица
искусств, готова у своих жрецов
принять любую жертву. Ей по сердцу
отважный поиск дерзких сочетаний
старинных слов. В садах ее роскошных
твоя «Шпалера» незаконным, диким
цветком выросла — и услаждает взор
взыскательный. Скажу без ложной лести —
ты, человек другой эпохи, знаешь
толк в красоте, заброшенной, забытой
сегодняшними бардами. Прости же,
что критика на книгу не готова —
я разленился с возрастом, мой милый,
знай пью вино, да разъезжаю по
Америке, ищу неверный призрак
гармонии, надежды и любви.
В горах Адирондака, у озер
зеленого Вермонта, раскрываю

твои стихи — и снова погружаюсь
в мир клавикордов, пыльных гобеленов,
и отдаленный музыкальный строй
чужой души, что настезь поутру
открыта ветру времени. Прощай же,
товарищ мой, и передай поклон
камням благоуханного Парижа,
которые ты толчешь на рассвете,
вполоборота глядя на восток.

2.

Привет тебе из северного града,
манхэттенская жительница! Окна
в моей квартире инеем покрыты,
трещит камин, с фонографа струятся
рождественские песни. С декабря
мы, милая, отрезаны от мира,
портовые рабочие без дела
сидят в пивных, а добрые хозяйки
уже на рынках выбирают самых
упитанных индеек. В эти дни
кто занят верховой ездой, кто
катается на лыжах, кто проводит
субботы за бильярдом, кто — за бриджем,
твоим ножом я разрезаю книги,
которые с последним кораблем
пришли из Петербурга, а порою —
мороз смягчится, вспыхнет пунш горячий
в хрустальной чаше, мысли, будто в детстве,
легки и беззаботны... К рождеству
с оказией Цветков из Вашингтона
препроводил мне вечное перо —
то самое, которым эти строки
написаны. Лишь изредка, взглянув
на старую чернильницу, я вдруг
вздохну, вздохну — а почему, не знаю.

А что у вас? На улицах вечерних,
при свете газа, музыка из окон
несется фортепьянная? Горланят
разносчики сосисок? Из гостиниц

на улицу выглядывают грустно
старухи в черных платьях? Пастухи
из дальних прерий, в синих джинсах, так же
дивятся небоскрегам и роняют
широкополые смешные шляпы
на мостовые? Ах, американцы!
И горячи, и незамысловаты,
и как-то слишком деловиты — но
я чувствую завидную судьбу
страны твоей, подружка... Новый Йорк
еще затмит Москву и Петербург,
Париж, и Рим, и Лондон... а куда
мне снится — ты выходишь из театра
к разъезду, усмехаясь грубой драме
провинциальной труппы, отпускаешь
карету, с наслаждением вдыхаешь
сырой, протяжный ветер с океана,
плутающий в кирпичных — восемь, десять,
а то и двадцать этажей — громадах,
и старый номер «Русского богатства»
из сумочки торчит. Бредешь одна,
эманципе, и шляпка без вуали...
А что кинематограф? В самом деле
такая удивительная штука,
как пишут монреальские газеты?

3.

Почтеннейший Моргулис, высылаю
курьерской почтой рукопись, в надежде,
что ты меня еще не проклял. Долго
я с ней возился, и, в конце концов,
отправившись с семейством в декабре
на воды, захватил ее с собою
и попотел изрядно, исправляя
где перевод, где — автора, который
(признаюсь по секрету) простоват,
и часто, часто склонен в дверь ломиться
открытую. Ведь нам с тобой и так,
мой Михаил, доподлинно известно,
что Иисус есть Бог, что доказательств

не требуется добрым христианам,
а коли ты безбожник — никакая
брошюрка в сто страниц не обратит
язычника в спасительную веру...
Ну, не сердись. Ты, знаю, убежден,
что там, в атеистических краях,
народ непросвещенный жадно ждет
напористых речей заокеанских,
которые мы в меру слабых сил
перелагаем на язык отчизны...
Вернулись с юга. Труд мой завершен.
И вот в сочельник еду я со службы
в омнибусе, купив жене в подарок
настойный канделябр, а сумку с текстом
засунув под сиденье. Зачитавшись
газетой либеральной из Москвы
(там смягчена цензура, вольнодумцев
освобождают, вводят суд присяжных,
купцам дают дворянство, и едва ли
не отменяют крепостное право),
я выхожу — а сумка и останься
в омнибусе! Моих истошных криков
не слышит кучер, и ни одного
извозчика в округе! Все пропало!
И корректура, и наброски пьесы,
и дневники, и письма! Рождество
омрачено — опять до поздней ночи
тоскуя, правлю текст... а через две
недели — представляешь ли? — открытку
прислал мне стол находок. Отыскался
мой скучный труд! Признаться, я подумал:
Вот нация, достойная своей
прекрасной королевы. В ежедневном
единоборстве с северной природой
нет времени у честного канадца
губить страну в пожаре революций,
гражданских войн и бунтов, разрушая
порядочность грядущих поколений...
Не потому ль, любезный мой Моргулис,
любая смута — в Азии ль, в Европе —
бросает человеческие волны
к гостеприимным этим берегам?
Ну, будь спокоен, милый. В третий раз

я книгу просмотрел, добавил новых поправок, можешь сразу отдавать типографу. Даст Бог, и вправду будет в отечестве прочитан и оценен заморский проповедник... До свиданья, друг Михаил. С повинной головою пора идти к ревнивым аонидам, утратившим былую благосклонность: уж больше года дикая Канада не слышала моей угрюмой лиры.

4.

Мой добрый Милославский, с Рождеством тебя Христовым. В нашем Монреале на две недели позже свистопляски коммерческой, когда католик честный отпраздновал уже и Новый год, и елку полувывсохшую вынес навстречу мусорной телеге, мы его справляем тихо, без затей: негусто с православными в Канаде, и те, сам знаешь, больше ждут весны и светлого Христова Воскресенья. В газете из Парижа, доходящей с изрядным опозданием, встречаю твои статьи о храмах, о легендах Святой Земли — а это значит, ты благополучен — не убит арабом, не выслан из державы иудейской верховным раввином. Но, признаться, скучаю по твоим рассказам, по пространным, страстным письмам. Где

новеллы,

где твой роман заветный? Неужели тебя, мой друг-прозаик, так смутили реформы на Руси? Властитель дум там ныне — журналист-разоблачитель, экономист, умеющий расчислить сравнительные выгоды оброка и барщины, да автор престарелый когда-то запрещенных откровений

двадцатилетней давности. Кипит
отечество, пристрастно выясняя,
насколько голым был король покойный.
Там, на полях литературных схваток,
один зоил клеймит другого, третий
провозглашает русскую идею,
обоих упрекая — то в мздоимстве,
то в верной службе прежнему тирану.
Теперь в народе новые герои —
ремесленник, купец, изобретатель,
единоличник. Бедные поэты!
Им в пору хоть топиться, как писал
несчастный Баратынский. Но тебе
не стыдно ли, мой добрый Милославский?
Когда недобросовестный подрядчик
возводит храм на зыбком основанье
из скверного песчаника, и сам
находит смерть в развалинах, когда
всем миром по ассарию, по лепте
собрав, постановляют строить новый
похожий храм — смутится ли певец,
сжимающий возлюбленную лиру?
Литература выше перестройки,
мой Милославский. Даже если там,
на родине, соорудят хрустальный
Дворец Предпринимателя, ремесла
вдруг возродятся, в лавках зеленных
пахучей грудой лягут апельсины
из Палестины, новый Ломоносов
прославит просвещенного монарха —
я и тогда, чуть обернусь, увижу
твой страшный Харьков — мытарей, блудниц,
разбойников, в отчаянии жизнь
хватающих рукою перебитой,
и Сына Человеческого, молча
глядящего в слепые их глаза.

5.

Любезный Марк, из сонного Торонто
всего два дня письмо твое летело.
Морозным, ясным утром я, достав

из ящика его, решил на службу
чуть припоздниться, чтобы прочитать
в кондитерской. Знакомый половой
мне улыбнулся, подавая слойку
и крепкий кофий. Местные красотки
в бобровых шубах бойко щебетали
за столиком соседним, и таким
уютом жизнь дышала. Парижанин
пускай смеется — в целом Новом Свете
нет города милей для либеральных,
ленивых жизнелюбцев, вроде нас
с тобою, Марк. Как жаль, что ветер
странствий
погнал тебя на запад, в цитадель
охотников, купцов, аристократов
сомнительных, чей громкий титул только
в Торонто и берут на веру. Впрочем,
в провинции карьере сделать легче.
Ты начал скромно. Но учти, привратник —
первейший друг дворецкому, а тот,
не сомневаюсь, вскоре убедится,
что ты не так-то прост. Доложит графу,
ты станешь управляющим, а может,
и лучше. В министерстве я навел
кое-какие справки. Гордый граф
не чужд торговли, даже вхож в правление
Компании Гудзонова залива,
а та как раз ведет переговоры
с посольством русским (кажется, в Оттаве)
о тульских ружьях, ворвани и об
уральском чугуне. Вот тут-то, милый,
и выйдешь ты на сцену — эмигрант
из тех краев, еще не позабывший
ни языка, ни азиатских нравов
отечества. Сумей же доказать,
что ты впрямь в привратнической каморке
случайно оказался, что когда-то
ворочал миллионами, что ныне,
когда социалисты поумнели
и зверем не кидаются на прежних
российских граждан, ты послужишь верой
и правдою любимой королеве...
У нас мороз. Страдаю инфлюэнцей.

Чай с медом пью, стараюсь обойтись
без доктора — боюсь кровопусканий.
Супруга сбилась с ног — мальчишка тоже
хворает, бедный. Как твое потомство?
Уже и зубки режутся, должно быть?
Забавны мне превратности Фортуны!
Давно ли в Петербурге, белой ночью,
стояли мы над царственной Невою
недалеко от Биржи. и давно ли
ты, честный маклер в черном сюртуке,
читая телеграммы, ликовал,
потом бледнел, потом, трезвея, тут же
спешил распорядиться о продаже
то киевских, то астраханских акций?
Мой славный друг, в торонтской глухомани
любой талант заметнее. Ты молод
и несгибаем. Отпрыск твой растет
молочным братом юного виконта.
Лет через пять, когда переберешься
обратно в Монреаль, и заведешь
открытый дом в Бестмаунте, явлюсь
к тебе на бал — и за бокалом брюты
уговорю, ей-Богу, учредить
стипендию писателям российским.

6.

Прелестница моя. каков портрет,
какое платье! Прямо как живая.
А кто фотографировал? Супруг
законный, неизменный? Или дочка?
Ты мало изменилась, друг сердечный —
неугомонный, милый, жаркий взгляд
все так же неприкаян...

в Монреале
обильный снег, навоз дымится конский
на мостовых, у ратуши изваян
индеец ледяной, — у нас зима,
та самая, которой так тебе
недостает во Фландрии. На днях
читал стихи я в эмигрантском клубе.
Разволновался, сбился... наконец

поднял глаза. Поклонники мои
(семь стариков и две старухи) в креслах,
кто тихо, кто похрапывая,— спали.
Поднялся я, и вышел, улыбаясь
неведомо чему. Ах время, время,
грабитель наш. Бежать российских смут,
найти приют за океаном, спать
и видеть сны — не о минувшем даже,
а о подагре, лысине, одышке...
Дошел до моста. На реке застывшей
мучительно, нелепо громоздились
чудовищные льдины. Экипажи
скрипели, матерились кучера
на пешеходов, жмущихся к перилам.
В июне, в день святого Иоанна
Крестителя, такие фейерверки
устраивает мэрия! Народ
толпится на мосту, кричит, теснится,
и всякий год один-другой несчастный,
конечно, тонет. Властная река
уносит жертву развлечений. Что ж,
не отменять же празднества...

Так значит,
роман мой не удался? Не беда,
он — плод другого времени, когда
я был влюблен, порывист, бескорыстен,
короче — юн. А юность простодушно
рассчитывает, устранив преграды
к предмету вожделений, насладиться
означенным предметом. Я с тех пор
узнал, моя голубушка, тщету
стремленья к счастью, научился видеть
не в будущем его, не в прошлом даже,
а в настоящем — скажем, в духовом
оркестре у реки, где конькобежцы
катаются по кругу, в снегопаде
рождественском, в открытке долгожданной
от старого товарища. Об этом
(а может, не об этом) всякий вечер,
едва заснет мальчишка, а супруга
садится за грамматику, в гроссбухе,
по случаю доставшемся, пишу я

другой роман, не представляя, кто
возьмет его в печать. Литература
сейчас не в моде, милая. А впрочем —
ты видела занятнейший отрывок
в январском «Русском вестнике» за прошлый
год? Славно пишет этот Достоевский.
Фантастика (к примеру, там сжигают
сто тысяч в печке), жуткий стиль, скандалы,
истерики — а право, что-то есть.
Герой романа, обнищавший князь,
страдающий падучей, приезжает
на родину с идеями любви,
прощенья, братства и славянофильства.
Наследство получает — и с одним
купчишкою (кутилой, богачом)
вступает в бой за некую Настасью
Филипповну — хотя и содержанку,
но редкую красавицу, с душою
растоптанной — имеется в виду
Россия, надо полагать, дурная,
безумная и дивная страна...
Кто победит? Бог весть. Блаженный князь?
Гостинодворец? Или третий кто-то,
на вороном коне, с трубою медной
и чашей, опрокинутой на землю?

7.

Приветствую тебя, неповторимый
Димитрий Александрович. Где бродишь,
где странствуешь? На бенефис в Нью-Йорке
послав тебе свой скромный сборник, я
не получил ответа... Неужели
не выдержал ты испытания славой?
Что ж! От Караганды до Сан-Франциско
гремят твои пленительные строки,
стыдливые невесты преподносят
смущенным женихам твои холсты
перед волшебной ночью брачных таинств,
как символ высшего блаженства, Пригов.
Но, заслужив всемирный сей триумф
трудом, талантом. самоотречением,

не возгордись, не подвергай забвению
своей прискорбной участи при старом
режиме, ненавидевшем искусство.
Бесстрашно мы тогда одним молились
богам, и в зимних прериях канадских
нередко я в слезах припоминал
твои сонеты стройные, твоих
героев древних, подвиги свершавших
на красочных полотнах, в назиданье
изнеженному зрителю.

Ты был
едва ли не единственной опорой
великому призванью, что корнями
уходит в наше прошлое святое,
к Державину и Рокотову. Ныне,
когда заря над родиною встала,
и злые модернисты, словно бесы,
рассеялись, ты стал послом достойным
отечества, в развратном Новом Свете
вновь подтвердив свои права на титул
российского Монтеня.

Побежденный
учитель, умиленно наблюдаю
за быстрым, ослепительным восходом
твоей звезды, гласящей возрожденье
всего, что спит в измученной душе
изгнанника. Я слышал, ты сейчас
на родине Лукреция и Тасса —
волнуйся же в предвосхищенье первых
мазков суровой, вдохновенной кисти,
любуйся на Везувий, заноси
бестрепетным пером в бювар походный
наброски гармонических созвучий,
достойных Гоголя.. Он тоже так любил
Италию! Сжимая жаркий факел
поэзии, прими благословенье
канадца незатейливого. Пусть
ты позабыл меня, российский гений.
Жизнь коротка, а творчество бессмертно.
Всходи же, не колеблясь, на Олимп,
где муза ждет тебя с венком лавровым.

Благодарю за весточку, мой Яков. Мне пишут из отечества все реже, свои у вас заботы — после долгих десятилетий гнусной тирании Россия, просыпаясь, созывает сынов трудолюбивых, чтоб они засеяли заброшенные нивы отборным ячменем, перековали решетки с кандалами на плуги и паровые мельницы.

В Канаде, затерянной в лесах, не понимают восторженности вашей — не с властями мы боремся, мой Яков, а с природой неукротимой. Снежную зиму бывает, дикий гризли похищает младенца из коляски, ураган с домов срывает крыши, алгонкинцы воинственные, в перьях разноцветных, грозят набегом буйным... Третий год поражена страна моя жестокой болезнью, Божьей карой, что с содомским грехом передается. Мужеложцев (их много здесь, по недостатку женщин) не жалко, но и честный обыватель подвержен страшной хвори. Доктора в отчаяньи. Девицы женихам теперь не дарят даже поцелуев, фривольностям, изменам наступил конец, мой Яков. Новая чума обрушилась на бедную Канаду. Монахини смиренные — и те не ходят за больными, опасаясь заразы. Вечерами на санях по городу провозят скорбный груз, прохожие шарахаются, ставни по очереди хлопают... Ах, Яков, я так мечтал укрыться от скорбей и рока беспощадного — по всюду Господь напоминает нам о страшном суде. И завсегда той непотребных

портовых заведений, мореход
из Сан-Франциско, Лиссабона или
Архангельска, угрюмо пьет в таверне
свой горький ром, не соблазняясь боле
корыстными красотками. Вот так,
мой добрый Яков, Божье наказание
оздоравливает нравы...

До России
содомская едва ли добралась
погибель. Ваш народ многострадальный
приучен к осторожности. А ты,
мой мудрый химик, преданный до страсти
естествоиспытательству, ночами
беззвездными у вытяжного шкафа
мешаешь белый фосфор с мышьяком,
с толченой костью, с серным ангидридом,
и ставишь перегонный куб голландский
на масляную баню, наблюдая
за чередой чудесных превращений,
сулящих избавление от заморской
чумы. Я верю, нищая Россия
сумеет повторить свой древний подвиг,
когда славянский муж в стальной кольчуге
надежной стал твердыней на пути
безумных скифов...

Добрый мой профессор,
поторопись, а если будешь к лету
в Соединенных Штатах, доберись
до Монреаля, привези и нам
плоды самоотверженной работы,
чтобы смогла на площади Бобровой
воздвигнуть благодарная Канада
твой образ медный, с надписью по-русски
и колбою химической в руке.

9.

Мой Палисандр, ахейские вершины
покрыты снегом. Золотится гладь
эгейская. В безветрии застыли
рыбацкие суденышки. Горчат
зеленые оливки, сыр овечий

крошится на пастушеской лепешке,
и амфора двуручная полна
вином багровым. У твоих дверей
лавр шелестит, синеет можжевельник.
Мой Палисандр, мой чудный лирник, трижды
изгнанник, разжигая свой очаг
на острове, приюте диких коз
и вольных муз, нашел ли ты источник
живого вдохновения? Ночами
является ли в хижину твою
слепая тень Гомера? Напевая,
в крестьянских ты сандалиях восходишь
по горной тропке к храму Артемиды
и смотришь вниз, где юная Европа,
тунику скинув, плещется в заливе.
Счастливая Эллада! Ей в наследство
досталась власть притягивать певцов
всей ойкумены, даже из торговой
Америки, где скрежетом прядильных
машин и паровозными гудками
заглушены стенанья сладкой лиры.
Мой Палисандр, уже пятнадцать лет,
как из славянских сумрачных пределов
вернулся ты в Канаду, на свою
заснеженную родину — но вскоре
взлетел, подобно вольному орлу
с квебекской колокольни, приземлившись
в Америке, гнезде республиканцев
и атеистов. Страшную ошибку
ты совершил, певец, и заплатил
ужасною ценой. Твоя любовь
к британской королеве приводила
американцев в бешенство. Годами
ютился ты в затерянных ущельях
Вермонта, словно ссыльный, в Мичигане
промышленном, где древние леса
под топорами гибнут на потребу
каретника, в Манхэттене распутном.
Душа певца устала. Ты собрал
нехитрый скарб в мешок и отряхнул
постылый прах Америки от ног
натруженных. И пароход ревущий
увлек тебя в желанную Элладу.

Мой Палисандр, невольник вдохновенья!
Отчизна без тебя подобна дому
без алтаря. Неужто ты навеки
отверг дары отечества — лапту,
коньки острозаточенные, скачки,
хоккейные баталии? Забыл,
как поутру стреляли мы бромонтских
тетеревов, какого осетра
с каноэ ты пронзил своей остройгой
на озере Святого Иоанна?
Любимец Аполлона и Эрота!
Грущу по тем мгновеньям незабвенным,
когда, склонясь на долгие моленья,
ты ударял волшебными перстами
по струнам верной лиры... Терпеливо
Канада ждет возлюбленного сына,
наследника Орфея, чтобы звуки,
божественные звуки новых песен
дыханьем солнца древнего согрели
доминион недоброго Борея.

10.

Дошла ли, Рональд, до тебя моя
открытка из Флориды? Отчего же
не отвечаешь? Впрочем, понимаю —
ты устаешь, издатель молодой.
То заполночь с прекрасной Эллендеей
стоишь в сыром подвале за машиной
печатною, то у наборной кассы
сгибаешься, безвестный просветитель...
Лишь изредка, поношенный сюртук
очистив щеткой от свинцовой пыли,
сидишь в таверне, где звенят студенты
бокалами, где пожилой тапер
играет на разбитом пианино
ковбойскую мазурку, да заезжий
каретник из Детройта, экипаж
рессорный сбыв удачно адвокату
или врачу, тоскует за седьмым
стаканом джина... Ах, мой милый Рональд,
ночные наши буйные пиры

не повторяется — я сумел расстаться с грехом своим. Напрасно зазывает меня трактирщик гнусный — никогда не заложу я больше ни отцовских часов с цепочкою, ни образка нательного. Опять читаю книги, хожу в свой департамент. К Рождеству усердие мое столоначальник отметил небольшими наградными и отпуском. Отсюда и вояж с семейством к морю. Трое долгих суток промаялись мы в поезде железной дороги, поражаясь, как огромна Америка. От лиственниц канадских до мексиканских кактусов привольно раскинулась могучая держава, великодушно давшая приют десяткам тысяч беженцев российских. И, наконец, пред нами океан засеребрился! После Вашингтона чиновного, и шумного Нью-Йорка так странно было видеть обнаженных детишек смуглокожих, крыши редких рыбацких деревушек, пеликанов, летящих стаей, с полными мешками под клювами... Наш постоялый двор, весь в пальмах и бананах, целый день веселые торговцы осаждали и рыбаки. Один тебе омара протягивает страшного, другой — акулу свежепойманную, третий — жемчужину, добытую на дне тропического моря... Ты слышал ли о Мики-Маусе, Рональд? Христианство до этих мест еще не добралось, туземцы поклоняются большому мышонку с человеческим лицом. Жрец низкорослый, в полотняной маске мышиною, и оранжевых штанах, с доверчивых креолов собирает положенную дань — а в воскресенье бывает, Рональд, целый сонм богов языческих беснуется в округе,

бьют в барабаны, крикают и лают
нечистые чудовища, лишь к ночи
расходятся, и ласковое солнце
садится в океан темно-багровый...
Ну, до свиданья, друг мой, до свиданья.
Жду в гости — только виски из Кентукки,
британский джин и хлебное вино
оставь в своей квартире холостяцкой.
И знаешь что? Не брал бы ты в дорогу
романов современных. Захирела
литература русская. Возьми
зачитанного Битова, Цветкова,
Жуковского. Наговоримся всласть
о прелестях словесности старинной.

11.

Привет тебе, печальный пересмешник
российского Парнаса. Догорает
в настольной лампе керосин, пора
зажечь свечу, и лондонских чернил
в чернильницу долить. С таким трудом
даются даже письма! Неужели
ржавеет дар мой, отлученный от
наречия московских улиц? Или
вторую революцию в России
и вправду не понять обломкам первой?
Утратили мы трепетную связь
с отечеством неласковым. Восторги
при чтении отважных откровений
в журналах петербургских — миновали,
как первая любовь. Февральский воздух
неумолим и вязок. Всякий год
об эту пору я до поздней ночи
сижусь над ветхим Пушкиным, курю
изгрызенную трубку... тишина —
хоть бей посуду... только ветер поздний
свистит в трубе, трещат дрова в камине,
да сани с подгулявшим седоком
вдруг проскрипят под фонарем чадающим...
Где ужас мой, где нежность? Потоскую —
и спать ложусь. Корзина для бумаг

полным-полна. Ты тоже инородец,
признайся, мой Тимур, тебе не страшно
слагать стихи на русском языке?
И гибок он, и жарок, как больная
красавица, и мясом человеческим
питается, и ненавистью так
пропитан, что опасно прикоснуться
к его шипящим звукам — если только
не промышлять гражданственную скорбью,
игрой в шарады, или кисло-сладкой
серьезной прозой. В мгlistом Петербурге
социалист сквозь зубы признается,
что не построил рая на земле.
Америка залечивает раны
военные, вчерашний черный раб
поет свободу, посвящая лиру
ремеслам и коммерции. Европа
разнежилась в комфорте, наслаждаясь
спокойной старостью. Моя Канада,
укрывшись пледом, пьет у очага
домашний эль, читает календарь
за прошлый год. Гармония, Тимур,
вещь редкая и очень дорогая,
засим и спрос (читай хоть Карла Маркса)
ничтожен. Процветает ли народ,
бунтует ли,— ему не нужно плясок
перед ковчегом Ветхого завета,
тем более — перед чикагской бойней
иль памятником жертвам декабризма...

Старею, зубоскал мой благородный.
Все реже вижу чистые созвездья
над городом затерянным моим,
ворчу на эмигрантские журналы
(включая даже «Колокол») — стихи
в них так же смехотворны, как в российских.
Но вот на днях пришла с февральской почтой
твоя поэма — как она попала
к издателям? — и восхитился я
нежданной этой музыкой — алмазом
по зеркалу кривому, по стакану

трактирному, по небу голубому...
Прислал бы экземпляр — да опасаясь,
при всех реформах новых, искушать
недремлющих блюстителей культуры.

12.

Вот и весна, историк, искушенный
в искусстве красноречия, ночной
побежке звезд над старым переулком
и хрусте льда под сквозняком апрельским.
Журчат ручьи по гулким мостовым,
звенят колокола, грядет суббота,
когда со всей Москвы мастеровые
мещане и чиновники неспешно
на кладбище пойдут со всем семейством —
прибрать могилы, помянуть стаканом
смирновской водки дедов и отцов...
Уже, наверно, франты молодые
в дурацких котелках, по новой моде,
слоняются бульварами. Поэт,
чуть улыбаясь, смотрит с постамента
чугунного... а глупые студенты,
хихикая, перевирают строки
про милость к падшим... подлая цензура
и здесь успела — даже после смерти
не убежал твой славный соименник
из лап ее...

Жизнь близится к концу,
но, слава Богу, есть еще иные
лихие корабельщики. Поют
они и плачут, восхищаясь ветром
в тугих снастях, и бешеной лазурью
на сколько хватит взгляда...

Неизменно

и море, и корабль — лишь времена
меняются, да так, что не узнаешь.
Трибун опальный неумемной речью
сторонников сзывает — и напрасно
скрипит зубами отставной полковник —
в Якутск его, в Тобольск! Поди, попробуй —
на улицы Москвы толпа такая

немедля хлынет — с дреколъем, с булыжным
оружием, чтоб защитить любимца
народного, мятежного Бориса.

А Михаил каков! А каковы
литовцы и чухонцы, Александр!
А буйные защитники природы!
Дай волю им — останется Россия
без рудников и фабрик, без железных
дорог и пароходов...

Хорошо
в стране, когда смягчаются законы
и власти просвещенные дают
страстям народным вольно изливаться!

Не спрашивай, зачем я не сажусь
на пароход, не вглядываюсь в майский
туман над Амстердамом, по пути
на родину...

В тяжелом макинтоше
я прохожу сквозь старый город — банки,
лабазы закопченные, дома
терпимости — к проснувшемуся порту.
Лед сходит. Словно черный муравей,
буксир пыхтящий медленно толкает
потрепанный корабль из Петербурга,
и моряки усталые дивятся
зевакам, попивающим вино
на столиках у пирса. Я и сам
охотно пью за молодость чужую,
за ненадежный путь землепроходца,
и подымаю воротник — а ветер
подхватывает чаек, уходящих
с недобрым криком в ветреную высь.

ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ

Я жил в одной стране...
С. Гандлевский

1.

Неужели хвалиться нечем? Нитка, пальцы, канва, игла
В ненаглядной Европе вечер, а в России и вовсе мгла.

В двух шагах разыгралось море. И стакан на столе вверх
дном,
будто лодочка на просторе сером, северном, ледяном.

Сколько бедного, злого неба молча смотрит в твое окно,
столько ненависти и гнева в море зябком погребено,

и священник, крестясь, зевает. И смотрителя маяка
после рюмки одолевает рыбой пахнущая тоска.

И волна выдыхает «не-ет», перед тем, как уйти в туман,
где ярится и цепенеет остывающий океан.

2.

По кому колокольчик плачет? Кто — беспечный, с цветком в
руке —
затевал карнавал незрячий в темнокаменном городке?

Пусть роняет ошметки дыма ясный месяц, летящий вниз,
награждая Иеронима, возрождая его эскиз.

Барабанные перепонки... хриплый голос, недобрый глаз...
Дьяволице и дьяволенку хорошо в этот поздний час.

Но звезда за звездой погасла. Все слепые ушли домой,
потянуло прогорклым маслом, одиночеством и тюрьмой —
просыпайся на всякий случай, недовольный и неживой, —
вдруг остался цветок пахучий на истоптанной мостовой.



Давай за радость узнаванья, как завещал один поэт,
пусть Аргус щерится, зевая, в вельвет застиранный одет.
Зима долга, и пир непрочен, в пыли тисненные тома,
и к сердцу тянутся с обочин прохладноглазые дома.

Ответь, дыханьем пальцы грея, что город выверен и тих,
с тех пор, как пробудилось зренье у трилобитов молодых.
Земля влажна, а в небе сухо, но там готовится одна
для осязания и слуха непоправимая весна.

И я родимой стороною бродил, ухваченный на крюк,
где ночью белою, двойною мой сводный брат и нежный друг
перемогаются в ухмылке, дождем к булыжнику примят,
покуда ножницы и вилки в суме брезентовой гремят.

Всею силой скорбного сознанья он помнит, бедный
звездочет,
что сон прохожего созданья горючим маревом течет,
и проникает, и бормочет, валдайской песенкой звеня,
но оправдания не хочет ни от тебя, ни от меня.

Да и зачем оно, откуда в руке свинцовый карандаш?
Ты за один намек на чудо всю жизнь с охотою отдашь,
и птица в руки не дается, и вера светлым пузырьком
в сердечный клапан молча бьется в скрещении дорог
ночном.

* *
*

Над огромною рекою в неподкупную весну
Книгу ветхую закрою, молча веки разомкну,
Различая в бездне чудной проплывающий ледок —
Сине-серый, изумрудный, нежный, гиблый холодок.

Дай пожить еще минутку в этой медленной игре
шумной крови и рассудку, будто брату и сестре,
лед прозрачнее алмаза тихо тает там и тут,
из расширенного глаза слезы теплые бегут.

Я ли стал сентиментален? Или время надо мной
в синем отлито металле, словно колокол ночной?
Время с трещиною мятной в пересошем языке
низким звуком невозвратным расцветает вдалеке.

Нота чистая, что иней, мерно тянется, легка —
так на всякую гордыню есть великая река,
так на кровь твою и сердце ляжет тощая земля
тамады и отщепенца, правдолюбца и враля.

И насмешливая дева, темный спрятав камертон,
начинает петь с прилева непослушным смерти ртом,
и тамбовским волком воя, кто-то долго вторит ей,
словно лист перед травой в небе родины моей.



Ах, карета почтовая, увлеченная пургой,
что летишь, не узнавая древней двери дорогой?

Там, за нею, стонет спящий, вспомнив в дальней стороне
пол гостиничный скрипящий, солнце алое в окне,

вечный сон, который начат, словно повесть без конца,
и в ладонях складки прячет безымянного лица...

Выступай же из тумана месяц медный, золотой,
вынимая из кармана ножик в ржавчине густой —

это жизнь моя под утро с беленой мешает мед,
и перо ежеминутно в руки белые берет,

тщится линию ночную снять с невидимых лекал,—
и рыдает, и ревнует к низким, влажным облакам.



Первый погон или пряный посол —
что ты там нагородил?
Птичий язык индевеющих сел
тих и непереволим.

Медленно спит обнаженный простор.
Немолодой инвалид,
молча ударив стаканом об стол,
в мерзлое небо глядит,

а по земле проступает зима.
И над дорогой кривой
молча качает часовня с холма
луковую головой.

Что же ты учишь, ночной человек,
пальцами веки прикрыв,
трудную речь остывающих рек
и коченеющих ив?

Что ты выводил в несмежных мирах
линии на пятерне —
лисье убежище, волчий овраг,
заячий гон по стерне?

* *
 *
 *

Тонких нот звуковой лепрозорий,
крючковатые оси ключей,
отворившие зимние зори
и прославленный воздух ничей,

словно склеп, словно вены, в которых
бедный свет среди серых пустот,
тяжелея в немых разговорах,
виноградным дыханьем растет —

и в ночах опаленных, опальных,
где закат в темноту перелит,
сочинитель игрушек хрустальных
пересохший язык шевелит...

Не усвоив его партитуры,—
кто в моху, кто в защитном сукне,—
русской речи слепые фигуры
безнадёжно толпятся в окне,

и за ними — за спинами, снами
и горбами — гремит неживой,
развернувший венозное знамя,
прокаженный оркестр духовой,

знаменатель играет в числитель,
тонут ноты в цифири густой,
не умея создать заменитель
раскаленной мелодии той...

* *
*

Где серебром вплетен в городской разброд
голос замерзшей флейты, и затяжной
лед на губах в несладкий полон берет
месяц за годом — поговори со мной.

Пусть под студеным ветром играет весть
труб петербургских темным декабрьским днем,
пусть в дневнике сожженном страниц не счесть,
не переспорить, не пожалеть о нем —

сердце в груди гнездится, а речь — извне,
к свету стремится птица, огонь — к луне,
завороженный, темный костер ночной,
вздروгни, откликнись, поговори со мной,

пусть золотистый звук в перекличке уст
дымом уходит к пасмурным небесам —
пусть полыхнет в пустыне невзрачный куст —
и Моисей не верит своим глазам.



...не ищи сравнений — они мертвы,
говорит прозаик, и воду пьет,
а стихи похожи на шум листвы,
если время года не брать в расчет,

и любовь похожа на листьев плеск,
если вычесть возраст и ветра свист,
и в ночной испарине отчих мест
багровеет кровь — что кленовый лист,

и следов проселок не сохранит —
а потом не в рифму мороз скрипит,
чтобы сердце сжал ледяной магнит,
— и округа дремлет, и голос спит —

для чего ты встала в такую рань?
Никакого солнца не нужно им,
в полутьме поющим про инь и янь,
черный с белым, ветреный с золотым...

Европейцу в десятом колене
недоступна бездомная высь
городов, где о прошлом жалели
в ту минуту, когда родились,

и тем более горестным светом
вертоград просияет большой
азиату с его амулетом
и нечаянной смертной душой.

Мимо каменных птиц на карнизах
коршун серый кидается вниз,
где собачьего сердца огрызок
на перилах чугунных повис.

Там цемент, перевязанный шелком,
небеленого неба холсты,
и пора человеческим волком
перейти со Всевышним на ты.

И опять напрягается ухо —
плещет ветер, визжит колесо,—
и постыла простая наука
не заглядывать правде в лицо.

* *
*

Пока наверху без обиды и гнева
закатная льется река
и злое отечество, гиблое небо,
на запад несет облака —

мой вольнолюбивый товарищ настроит
гитару, и бронзовый звук
взовьется, исчезнет за черной горою —
что хищная птица из рук.

И схватятся в воздухе сокол и ястреб,
взыграет латунная медь,
и будет он петь офицерские астры
и страсти советские петь.

Валяй, гитарист, без унынья и фальши
бывалые вспомним слова,
мы песенку спели, а дальше? А дальше
дрожит, ни жива, ни мертва,

безумная женщина в черном платочке
в своем одиноком углу,
на зеркальце дышит, и зыбкие строчки
без музыки шепчет во мглу.



Е. И.

Уходит звук моей любимой беды, вчера еще тайком
зрачком январским, ястребиным горевшей в небе городском,
уходит сбивчивое слово, оставив влажные следы,
и ангелы немолодого пространства, хлеба и воды
иными заняты делами, когда тщедушный лицедей
бросает матовое пламя в глаза притихших площадей.

Проспекты, линии, ступени, ледышка вместо леденца.
Не тяжелее детской тени, не дольше легкого конца —
а все приходится сначала внушать неведомо кому,
что лишь бы музыка звучала в морозном **вытертом дыму**,
что в крупноблочной и невзрачной странице, отдающей
в жуть,
и даже в смерти неудачной любовь особенная есть.

А кто же мы? И что нам снится? Дороги зимние голы,
в полях заброшенной столицы зимуют мертвые щеглы.
Платок снимая треугольный, о чем ты думаешь, жена?
Изгибом страсти отглагольной ночная твердь окружена,
и губы тянутся к любому, кто распевает об одном,
к глубокому и голубому просвету в небе ледяном...

* * *

4

То могильный морозец, то ласковый зной,
то по имени вдруг позовут.
Аметистовый свет шелестит надо мной,
облака молодые плывут.

Не проси же о небе и остром ноже,
не проси, выбиваясь из сил,—
посмотри, над тобою сгустился уже
вольный шум антрацитовых крыл.

И ему прошепчу я,— души не трави
человеку,— ты знаешь, что он
для насущного хлеба и нищей любви,
и щенячьего страха рожден,

пусть поет о тщете придорожных забот,
земляное томит вещество —
не холоп, и не цезарь, и даже не тот,
кто достоин суда твоего...

Но конями крылатыми воздух изрыт,
и возница, полуночный вор,
в два сердечных биения проговорит
твердокаменный свой приговор.

* *
*

Пой, шарманка, ушам нелюбимым — нерифмованный воздух
притих,
освещен резедой и жасмином европейских садов городских,
подлевай же, артист неречистый со зверьком на железной
цепи,
предсказуемой музыке чистой, прогони ее или стерпи,
что ты шуришься, как заведенный, что ты слышишь за гранью
земной,
в голосистой вселенной бездонной, и короткой, как дождь
проливной?

Еле слышно скрипят кривошипы, шестеренки и храповики,
шелестят елисейские липы, нелетучие ноты легки,

но шарманщику и обезьяне с черной флейтою наперевес
до отчаянья страшно зиянье в стреловидных провалах небес,

и сужается шум карнавала, чтобы речь, догорая дотла,
непослушного короновала, и покорного в небо вела.

Земли моей живой гербарий! Сухими травами пропах
ночной приют чудесных тварей — ежей, химер и черепах.
Час мотыльков и керосинок, осенней нежности пора,
пока — в рябинах ли, в осинах — пропащий ветер до утра
листву недолгую листает, и под бледнеющей звездой
бредут географ, и ботаник, и обвинитель молодой.

Бредут в неглаженной рубашке среди растений и зверей,
тщась обветшалый амфибрахий и архаический хорей
переложить, перелопатить, — нет, я не все еще сказал —
оставить весточку на память родным взволнованным глазам,
и совы, следуя за ними и подпевая невпопад,
теньями темными, двойными над рощей волглою летят.

Чем обреченнее, тем слаще. Пространства считанные дни
в корзинку рощи уходящей не пожалеют бросить ни
снов птичьих, ни семян репейных, ни ботанических забот.
Мятежной твари оружейник сапожки новые скует,
на дно мелеющего моря ложится чистый, тонкий мел,
и смерти тождество прямое ломает правильный размер.

Не зря ли реки эти льются? Еще вскипит в урочный час
душа, отчаявшись вернуться в гербарий, мучающий нас.
Пустое, жизнь моя, пустое, — беречь, надеяться, стеречь.
Еще под пленкой золотою долгоиграющая речь
поет — а луч из почвы твердой жжет, будто молнии прошли
сквозь кровеносные аккорды угрюмых жителей земли.

2.08.90

* *
*

Забытого промысла малая часть, дитя за стеклянной стеной,
несложную жизнь доживает, кичась свободой своей
потайной —

но древо познания Ева тряхнет, под змеем прогнется лоза —
из шестиугольных оберточных сот колючие грянут глаза —
есть царство шафраново-черных полос, где твой
добросовестный труд
вспетые смертником челюсти ос в бумажную массу сгрызут.

А ты накануне еще проклянешь двусмысленной бедности
гнет, —
с ножом нержавеющей бронзовый нож скрестившись,
на солнце блестнет,

и вдруг озарит — никогда и нигде. У зеркала пальцы болят,
неслышная рябь на узорной воде лицо растворяет и взгляд,
и если без воздуха сердце живет — то влагу сентябрьскую
пьет,
последняя истина пасмурных вод колеблет его переплет —

ленивые плети русалочьих трав сгущаются над головой
и рыбий язык по-осеннему прав, раздвоенный и неживой...

* *
*

Седина ли в бороду, бес в ребро —
завершает время беспутный труд,
дорожает тусклое серебро
отлетевших суток, часов, минут,

и покуда Вакх, нацепив венки,
выбегает петь на альпийский луг —
из-под рифмы автор, членистоног,
осторожным глазом глядит вокруг.

Что случилось, баловень юных жен,
удалой ловец предрассветных слез,
от кого ты прячешься, поражен
чередой грядущих метаморфоз?

Знать, душа испуганная вот-вот
в неживой воде запоздалых лет
сквозь ячейки невода проплывет
на морскую соль и на звездный свет —

за изгибом берега не видна,
обдирает в кровь плавники свои —
и сверкают камни речного дна
от ее серебряной чешуи.

Обманивая всех, переживая,
любовники встречаются тайком

в провинции, где красные трамваи,
аэропорт, пропахший табаком,

автобус в золотое захолустье,
речное устье, стылая вода.

Боль обоймет, процарствует, отпустит —
боль есть любовь, особенно когда

как жизнь, три дня проходит, и четыре,
уже часы считаешь, а не дни.

Он говорит: «Одни мы в этом мире».
Она ему: «Действительно одни».

Все замерло — гранитной гальки шелест,
падение вороньего пера,

зачем я здесь, на что еще надеюсь?
«Пора домой, любимая». «Пора».

Закрыв глаза, и окна затворяя,
он скажет «Ветер». И ему в ответ

она кивнет. «Мы изгнаны из рая».
Она вздохнет, и тихо молвит «Нет».

* *
*

Молоко ли в кринке топится, усыхает ли душа —
жизнь к могиле не торопится, долгим временем дыша.

Ей делить с распадом нечего — вот и судит опрометчиво,
медлит, в дудочку дудит, упражняется в иронии,
напевает постороннее, молча в зеркальце глядит.

Сквозь ее разноголосицу понемногу в мир иной
легким мусором уносится голос выстраданный мой,
вьется ветер обтекаемый — и голодная стрела
между Авелем и Каином млечным лезвием легла.

Одному — листвою осеннею в растворенное окно
ради медленного чтения книг, написанных давно,
а другому — вроде выкрика в поле скошенном, пока
икса крест и вилка игрека душевной страстью игрока

вяжут нищее сознание безобидного создания
с горлом, глазом, головой — брата скорби мировой...

Когда безлиственный народ на промысел дневной
выходит в город нефтяной, и за сердце берет
несытой песенкой, когда в один восходят миг
полынь-трава и лебеда в полях отцов твоих,
чего же хочешь ты, о чем задумался, дружок?
Следи за солнечным лучом, пока он не прожжет
зрачка, пока еще не все застыли в глыбах льда,
еще, как крысе в колесе, тебе невесть куда
по неродной бежать стране вслепую, напролом,
и бедовать наедине с бумагой и огнем.

Век фараоновых побед приблизился к концу,
безглазый жнец влачится вслед небесному птенцу,
в такие годы дешева — бесплатна, может быть, —
наука связывать слова и звуки теревить,
месить без соли и дрожжей муку и молоко,
дышать без лишних мятежей, и умирать легко.
Быть может, двести лет пройдет, когда грядущий друг
сквозь силу тяжести поймет высокий, странный звук
не лиры, нет — одной струны, одной струны стальной.
что ветром веры и вины летел перед тобой.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Говори — словно боль заговаривай...	5
Доживать, ни о чем не жалея...	6
Отложена дуэль. От переспелой вишни...	7
В блокноте, начатом едва...	8
Нет, не безумная ткачиха...	9
Дворами проходит, старье, восклицает, берем...	10
Доктору наук Александру Садецкому...	11
Дорожащий неведомым, длинною, рыжей...	13
Памяти Арсения Тарковского...	14
Вск обозленного вздоха...	16
Всадник въезжает в город после захода солнца...	17
Хорошо на открытии ВСХВ...	18
Киноархив мой, открывшийся в кои-то...	19
Родной язык-1	20
Родной язык-2	21
Словно тетерев, песней победной...	22
Декабрьское небо взъерошено...	23
В долинном городе — пять церквей...	24
Каменщик...	25
Запрокинувший голову раб...	26
Не горюй. Горевать не нужно...	27
Ледяной синевой обделенный...	28
Законы физики высокой...	29
Безмянное небо. Зеленка, и йод...	30
И темна, и горька на губах тишина...	31
За головокружительною далью...	32
Куда плывет скрипучим кораблем...	33
Заела проза — но, увы, не та...	34
Жизнь, говоришь, утекает? Смешон, независим...	35
Расскажи мне об ангелах...	36

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Неужели хвалиться нечем...	63
Давай за радость узнаванья...	65
Над огромною рекою в неподкупную весну...	65
Ах, карета почтовая, увлеченная пургой...	67
Первый погон или пряный посол — что ты там нагородил?	68
Тонких нот звуковой лепрозорий...	69
Где серебром вплетен в городской разброд...	70
...не ищи сравнений — они мертвы...	71
Европейцу в десятом колене...	72
Пока наверху без обиды и гнева...	73
Уходит звук моей любимой беды, вчера еще тайком...	74
То могильный морозец, то ласковый зной.	75
Пой, шарманка, ушам нелюбимым — нерифмованный воздух прихих...	76
Земли моей живой гербарий! Сухими травами пропах...	77
Стало молчание золотом — влажный хаос языка...	78
Забытого промысла малая часть, дитя за стеклянной стеной...	79
Седина ли в бороду, бес в ребро...	80
Обманывая всех, переживая...	81
Молоко ли в крынке топится, усыхает ли душа...	82
Когда безлиственный народ...	83

Подж. в печ. 1/XII 1992 г.

Зак. 1122

Тир. 5000

Тип., Москва, 2-й Магистральный туп., д. 7а

